

LE MESSENGER

périodique de l'Action Chrétienne des Etudiants Russes

Редакционная коллегия:

Франция: К. А. Ельчанинов, В. А. Водов, проф. прот. Алексей Князев,
И. В. Морозов.Америка: Архиеп. Сильвестр Монреальский и всея Канады, проф. прот.
Александр Шмеман, проф. прот. Иоанн Мейендорф, М. Гизетти, О. Раевская.

Ответственный редактор: Н. А. Струве.

91, rue Olivier-de-Serres, Paris-15°. Tél. : 250-53-66

ВЕСТНИК РСХД.

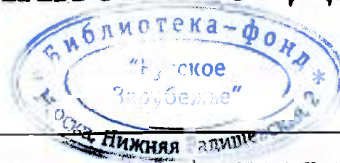
ПОВЫШЕНИЕ ПОДПИСНОЙ ПЛАТЫ

В виду увеличения объема Вестника почти вдвое, мы
вынуждены начиная с 1971 г. повысить подписную плату:

Во Франции	35 фр.
с целью поддержки	60 фр.
В Америке	8 долларов
воздушной почтой	10 долларов
с целью поддержки	15 долларов

Цена сотого номера: 20 франков.
5 долларов.Abonnement annuel 35,—
Prix du numéro 100 20,—Во Франции подписную плату просим вносить только на почтовый
счет РСХД:
C.C.P. Paris 2441-04. Action Chrétienne des Etudiants Russes,
91, rue Olivier-de-Serres, Paris-15°Adresse de la Rédaction : Action Chrétienne des Etudiants Russes,
91, rue Olivier-de-Serre, Paris-15°. France

ВЕСТНИК

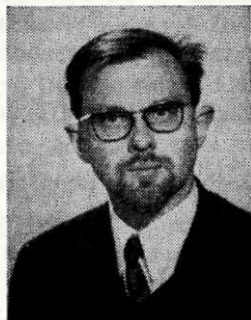
РУССКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО
ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Г. В. Адамович
епископ Александр
(Семенов Тянь-Шанский)
Н. Арсеньев
иеромон. Афанасий (Евтич)
Анна Ахматова (стихи)
К. Бальмонт (сонет)
прот. Б. Бобринской
прот. С. Булгаков
В. В. Вейдле
М. Волошин (стихотв.)
И. Горяинова
С. Доброхотов
Н. М. Зернов
прот. А. Киселев
прот. А. Князев

архиепископ Иоанн (Шаховской)
архим. Иустин (Попович)
Н. Лосский
Н. Я. Мандельштам
Мих. Михайлов
О. Раевская-Хьюз
прот. Г. Сериков
Г. П. Струве
Н. А. Струве
Б. Филиппов
свящ. П. А. Флоренский
прот. К. Фотиев
Марина Цветаева (неизд. стихи)
Г. К. Честертон
прот. А. Шмеман

ПАРИЖ—НЬЮ-ИОРК

Никита СТРУВЕ



Встречи с писателями

I. — РЕМИЗОВ

Бунин и Ремизов — составляют классическую литературную пару, как Толстой и Достоевский, Блок и Гумилев, основанную на общности судьбы и крайней противоположности писательских темпераментов. Жили они неподалеку друг от друга, но встречались редко. Друг друга не любили, не понимали — да и читатели до сих пор делятся кто за классика Бунина, кто за причудливого и фантастического Ремизова. Ремизова я помню с самого детства: он жил всего за два квартала от нашего дома. Славы за границей не имел никакой — его признавали лишь два-три французских писателя сюрреалиста — и вел сравнительно уединенную и бедственную жизнь. Чтобы ему помочь, мои родители устроили в 1938 году, у нас на квартире, вечера, на которых Ремизов читал свои и чужие произведения. Мне тогда было всего семь лет и я не мог по достоинству оценить Ремизовскую манеру читать, но тем не менее эти вечера производили даже на нас, детей, сильное впечатление. Совсем особо Ремизов читал цыганскую венгерку Аполлона Григорьева, нараспев, как бы колдуя, особо зловеще звучали у него таинственные слова: Б́асан, б́асан, басанá, /Басанáта, басанáта /Ты другому отдана/ без возврата, без возврата.

Потом пришла война, оккупация. Было не до чтений ни нам ни Ремизову. Серафима Павловна тяжело болела и Алексею Михайловичу пришлось вести хозяйство, готовить, бегать за покуп-

ками. Навсегда запомню в холодные и голодные зимы 1941 и 1942 года как Ремизов часами весь посиневший от мороза, с выпяченными бескровными губами, обмотанный в лохмотья, простаивал в очередях... Это страдное время запечатлено им «В розовом блеске» — может быть лучшей из книг, написанных в эмиграции. Как жаль, что по прихоти цензуры она не может дойти до русского читателя... Сколько в ней боли, выстраданной и просветленной!

Умерла Серафима Павловна. Прошла война с ее невзгодами. Ремизов остался один, полуслепой, в своей трехкомнатной квартире на улице Буало, с бесконечно-длинным коридором. Как придешь к нему, дверь всегда приоткрыта. Редко застанешь его одного. Встречал Ремизов гостей сидя за столом, узнавая по голосу, по шагам. Но неизменно провожал: это был своеобразный ритуал. Совсем маленький, сторбленный, вихрастый, он медленно шел по длинному коридору, который от этой замедленной походки казался бесконечным, — шел напевая своим вкрадчиво-музыкальным голосом: «Идите тихонько, не поскользнитесь». Иногда эта церемония перебивалась какой-нибудь шутливой выходкой: подведет к какой-нибудь фотографии и скажет: «Вот я, когда был маленький». А присмотришься, висит фотография каких-то французских школьников. В довоенное время через всю комнату проходили веревки, на которых висели всякие чертики, уроды, рыбы хребты. После смерти жены, Ремизов всю эту нечисть прогнал. Остались только на стенах узорчатые орнаменты, которые Ремизов любил клеивать, наподобие готических стекол, из цветных бумажек. Да неизменная кукушка, которая куковала по несколько раз в час: в кукушкиной — так называли Ремизовский кабинет — времени не было.

Разговоров с ним почти не помню. Разговаривать с Алексеем Михайловичем было не легко. Он не любил объективной речи, литературных оценок, обсуждений на злобу дня. Бывало спросишь его, по его специальности, о происхождении какого-нибудь слова — ответит он всегда шуткой. Как-то спросил его, не помню почему, о происхождении слова говеть. Ремизов сразу не то запел не то забубнил: «Го-го говядина, вот, вот, не есть говядины», и сам очень радовался своей филологической псевдо-находке. Хотя сам он всегда копался в словаре Даля, до последних дней жизни изучал язык **Уложения, Судебников XV** века, но слово для него никогда не было предметом объективации, научного подхода. Оно жило неуывающей, самостоятельной жизнью, где-то на рубеже между реальностью и сном, между явью и грезой и никаким зако-

нам не подчинялось, кроме как своей таинственной певучести и выразительности.

О своих книгах Ремизов говорил мало: из двух его больших послевоенных книг «Подстриженные глаза» и «В розовом блеске» — он отдавал предпочтение второй и не любил когда слишком прельщались блеском первой. «В розовом блеске — все правда, а в **Подстриженных глазах** я такого наплел!».

Особенно часто я стал заходить к Ремизову в последние годы его жизни, но не столько чтобы разговаривать, сколько чтобы ему, ослепшему, читать. Так несколько дней, а может и недель подряд я вычитывал ему из одного рукописного сборника начала XVIII столетия — «Цвет сельный» — разные жития святых. Слушал он замороженный, наслаждаясь словесной тканью рассказов. Из этого чтения родился один его небольшой рассказ — «Дула воскресший», — который я тогда же в 1955 г. напечатал в «Вестнике русского студенческого христианского движения». Помню, его страшно поразило это житие монаха, отчаянно преследуемого братьей, и он решил — по памяти — переложить его на свой язык... Присутствовал я как-то раз при чтении С. Маковским предсмертной поэмы Вячеслава Иванова, написанной в народном стиле. Ремизову она не понравилась: он немедленно определил ее народность фальшивой.

Если с Ремизовым говорилось не легко, зато с ним как-то необычайно хорошо сиделось: в кукушкиной был особый мир, отгороженный от действительности вымыслом, легендами, снами, причудами, озорством, где-то на границе между днем и ночью, в той средней полосе, где дневное, реальное уже искажено, а ночное, надмирное еще не определилось. Мир уже не телесный, но еще не духовный — целиком душевный. Всю свою жизнь Ремизов прислушивался к невидимому, но это невидимое редко принимало четкие формы религиозного откровения. При умалении чисто телесного и чисто духовного начала, душевное все заполняло: в кукушкиной все было одушевлено: люди, вещи, слова. Все выливалось в мерной музыкальной речи Алексея Михайловича. Но от этой певучей душевности иногда становилось душно: хотелось к свету более прямому, более объективному, или вниз в шумную улицу, или вверх к свежему воздуху религиозных откровений.

Но была одна область объективная, которая врвалась в этот замороженный мир сказок и снов. От зла и страдания не отгородиться ни вымыслом ни заклинаниями. И царил над волшебным миром кукушкиной слабый, задыхающийся старичок, одинокий и

непризнанный, слепой, ошупью, постукиванием пальцами по столу искавший свою папиросу, или мучительно выписывавший уже не блестящую вязь XVII века, а беспомощные каракули.

«Страждущий» — так в конце жизни Ремизов заканчивал свои письма или подписывал книги. Ремизов был всегда чуток к страданию, к жизненной неразберихе, которая шла наперекор стройному миру словесных чар. Ему часто хотелось уйти целиком от этого мира, предать его сатане и идти куда-то, минуя мир. Но отказаться от мира целиком значило бы отказаться от «страждущих», и от страдания. Этого Ремизов не мог. И может быть в этом принятии страдания, тем самым и преодолении его и лежит разгадка Ремизовского творчества. Сологуб как-то сказал ему: «Зачем вы все врете!». Гершензон вторил Сологубу: «Вы над всем смеетесь». Да, Ремизов много врал, озорничал, издевался, сам того не желая, обижал людей. Поклоняясь слову, он приносил в жертву иногда самое священное. Но за гримасами, чудачеством, озорством, за плетением слов почти всегда проскальзывает основная, если не единственная тема его творчества: боль. Боль о неустроенности мира, боль от обреченности всего рожденного, от разлуки, страдания, смерти. Оправдать страдание, как Достоевский, Ремизов не умел. Но сострадать стенающей твари, и самому безропотно и терпеливо, как бы за чужую вину, переносить страдание — в этом быть может то сокровенное, то лучшее, что было в нем.

II. — БУНИН

(К столетию со дня рождения)

Лед и пламень не столь различны между собой... как были Бунин и Ремизов. Ремизов весь в причудах, в фантазии, в словесном сплетении: из снов, из глубины времен он старается заглянуть в область неведомого. Бунин без причуд, строго-классичен, на мир смотрит нарочито острым, беспощадно-объективным глазом. Ремизов весь в изломах, в изгибах, он идет от Достоевского, в нем многое из Подполья. Бунин держится прямо, подобранно, он прячет свою душу от других, страх смерти у него запрятан глубоко, как можно глубже — он идет от Толстого, в нем многое от Ивана Ильича.

Ремизов окружил себя густым бытом, передал вещам жизнь своей души. Бунин — безбытен, его квартира ничем не отличается от других эмигрантских квартир, разве что беспорядка боль-

ше чем обыкновенно. Принимать он любит в столовой — там чуть прибраннее чем в других комнатах — но она ничем не примечательна. Ремизов никуда не выходит, или почти, ему живется по-настоящему только в кукушкиной; Бунин не прочь пойти в гости, проветриться, развлечься.

Помню я его сразу после войны, 75-летним, моложавым, благообразным. Невысокий (хотя себя считал ростом выше среднего), но очень прямой, нарочито подтянутый, негибачущийся, чуть деревянный. Говорит немногословно, отрывисто, отменно-хорошо, четко, определено. Суждения всегда резкие, окончательные. Половина русской литературы для него как бы не существует: символисты в частности, большинство современников, чуть ли не все после Чехова, и не только потому, что они возможные соперники в мнении народном; Бунин их отменяет за их измену классическому началу, за нарушение чувства меры, за чувствительность. Скажешь ему о Блоке, процитируешь какую-нибудь строчку, например «На ограде вспыхивают розы», а он обрежет одним безжалостным словом: «конфеточно». Бунин был поразительно чужд современности. Он любил находить сравнения в Пушкинском времени — так меня он шутя называл «Дельвигом» за круглость и пухлость лица — но теперь мне кажется, что корни его еще раньше, где-то в XVIII веке. От XVIII века и шло его барство, его до-романтический классицизм, холодная красота, скептицизм. Только, пожалуй, цельности того времени у него не было: он не мог бы, как Державин ожидать спокойно смерти, «крутя задумавшись усы». Цельность Бунина была нарочитая, сделанная, за видимостью ее начинались трещины. Его скупые слова, короткие, но красочные рассказы запоминаются: какая чистая речь, отточенная, выпуклая, скульптурная, как и он сам. Так же чисто, степенно, беспристрастно, с холодком, читал он свои произведения. Таким же был его почерк, крупный, твердый, определенный. Дашь Бунину книгу на прочтение — и он вернет ее всю расчерченную красным карандашом, считая не без основания, что такую вольностью придаст ей цену. Властным почерком он разукрасил лист литературной энциклопедии на букву Б. Портрет во всю страницу Демьяна Бедного снабдил следующим решительным комментарием: «Этот мерзавец, этот скот называется в Москве поэтом».

В сорок пятом году он встречал у нас Новый Год, в тесном семейном кругу. В тот вечер он был менее «накрахмален» чем обычно, был любезен и мил. Расспрашивал о том как умер мой дед Петр Борисович Струве, и в связи с этим произнес в пол-голоса,

как бы стыдясь, несколько задушевных слов. Но, повторяю, с ним это случалось редко. Доброту, чувство, душевность он как бы раз навсегда поручил своей жене, теплой и религиозной Вере Николаевне, а себе оставил беспощадность суждений, литературную злость, презрение, цинизм. Ругануть своих современников ему доставляло удовольствие: помню как он красочно рассказывал «скверные анекдоты» о Куприне, втаптывал в грязь Есенина, приписывая его самоубийство каким-то низменным побуждениям...

К большевизму, несмотря на злополучную встречу с Богомоловым, он относился всегда с отвращением, в котором было, пожалуй, больше брезгливости чем ненависти, — как к чему-то предельно уродливому. Быть может он, одно время, как и многие, поверил, вернее понадеялся после победы в возможность эволюции советского строя. Но поход к Богомолу, а затем сотрудничество в просоветской эмигрантской газете, имели, в основе, корыстные цели. Со свойственным ему цинизмом Бунин этого не скрывал: «Что хотите, — любил он говорить, — я хожу каждую неделю в «Последние Новости» как в публичный дом», употребляя при этом словцо куда более крепкое. За эту свою слабость он потом отомстил. На одном из последних литературных вечеров, не помню на какую тему, он дал себе полную волю и отколол по адресу советского режима несколько весьма крепких слов.

Верил ли Бунин во что-нибудь? Конечно, он верил в слово, в писательство, в красоту природы, в себя, в свою литературную ценность. Но за всем этим великолепием — это я чувствовал всегда остро — скрывался мучительный страх, страх смерти, уничтожения, небытия. Этот страх, в последние годы, принимал уродливые формы: гостям, пришедшим с мороза или мало-мальски простуженным, он не протягивал руки, боясь заразы. С неизбежностью конца в нем росла раздражительность. Навещал я его больного, такого несчастного среди невообразимого беспорядка комнаты, то незлобного и смягчившегося, то необычайно раздражительного и повелительного.

Умом своим Бунин верил в Бога, но сердца своего ему не отдал.

Вышло так, что я один из первых видел его мертвого, но уже, по завещанию, с покрытым лицом как у монахов и епископов. Вера Николаевна в утро после роковой ночи позвонила, растерянная, к нам, и по ее просьбе я немедленно к ней поехал. Лицо Ивана Алексеевича было закрыто платком и Вера Николаевна

была непреклонна: никому не было дано прочесть последней мысли его жизни.

Как при жизни он прятал от людей свою душу — может быть не только от людей, но и от себя самого, — так в смерти, верный своему тщеславию, своему ложному стыду, он пожелал скрыть от нас свое лицо, чтобы на нем никто не мог видеть красоту, обезображенную распадом.

В противоположность Ремизову, Бунин воевал с душевным началом в себе, не желая быть уязвимым. Духовное было ему чуждо. В нем преобладало чувственное, которым он любил пощеголять, и умственное, «Темные аллеи» и «Воспоминания», два лика его души, но не всей его души, а только той части ее, которую, на склоне лет, он пожелал отдать потомству.